

ТЕМА — СЕРИЯ

# Борис Савинков



*Конь бледный  
Конь вороной*

Борис Ропшин  
**Конь вороной**

«Public Domain»

1923

## **Ропшин Б. В.**

Конь вороной / Б. В. Ропшин — «Public Domain», 1923

Борис Савинков (1879-1925) – литературный псевдоним В.Ропшин – больше известен в нашей стране как политический деятель, чем как талантливый публицист и писатель. Его перу принадлежат высокохудожественные произведения – повести «Конь бледный» и «Конь вороной», представленные в сборнике. Произведение «Конь вороной», в котором автор показал бесперспективность белого движения, увидело свет в Париже в 1923 году.

© Ропшин Б. В., 1923

© Public Domain, 1923

## Содержание

Часть первая	5
1 ноября.	5
2 ноября.	7
3 ноября.	8
4 ноября.	9
5 ноября.	10
6 ноября.	11
7 ноября.	12
8 ноября.	13
9 ноября.	14
10 ноября.	15
11 ноября.	16
12 ноября.	17
13 ноября.	18
14 ноября.	19
15 ноября.	20
17 ноября.	21
18 ноября.	22
19 ноября.	23
20 ноября.	24
21 ноября.	25
22 ноября.	26
24 ноября.	27
25 ноября.	28
26 ноября.	29
27 ноября.	30
28 ноября.	31
29 ноября.	32
30 ноября.	33
1 декабря.	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

# Борис Савинков (В.Ропшин)

## Конь вороной

### Часть первая

#### I

*«...и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей».*

**Откр. VI, 5.**

*«...кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза».*

**I. Иоан. II.11**

### 1 ноября.

Очень хотелось спать, но я сделал над собою усилие и приказал привести Назаренку. Он вошел высокий, в желтой кубанке, и стал на пороге во фронт.

– Садись.

– Постою, господин полковник.

– Садись, вот здесь, напротив меня.

Он для приличия потоптался у двери. Потом сел на краюшек стула.

– Ты рабочий Путиловского завода?

– Так точно.

– Я взял тебя на бронепоезде «Ленин»?

– Так точно.

– Что я сказал тогда? Повтори.

Он задумался и поднял глаза.

– Вы сказали, что каждый может служить; кто не хочет, того расстреляют...

– Нет. Я сказал: кто хочет, служи, а кто изменит, того повешу... Так?

– Так точно.

– А теперь я знаю, что ты коммунист.

Он вздрогнул.

– Сознавайся, кто еще в комячейке?

– Не могу знать, господин полковник.

– А что с тобой будет, знаешь?

– Воля ваша.

– Хорошо. Ординарцы!

Он хотел что-то сказать и даже привстал со стула. Но вошли Егоров и Федя.

– Ординарцы! Полторапта плетей!

Когда его увели, я, не раздеваясь, лег на кровать. И сейчас же, в темном тумане потонули и Назаренко, и длинный переход на морозе, и сосновый, запорошенный инеем бор, и багрово-желтая дубовая роща, и скрип седел, и гнедая кобыла Голубка. Но за стеною свистнуло и упало что-то, и сильно и равномерно стал содрогаться воздух.

– Господин полковник!

«Сорок два... Сорок три... Сорок четыре»... Сон прошел. Стало душно лежать здесь, в жаркой комнате, в чужом доме, у незнакомого и перепуганного попа. В сенях грубый голос сказал: «Ишь, ворочается... На-голову, Федя, садись»... Это «работал» Егоров.

## 2 ноября.

Егоров – седобородый крестьянин, пскович. Он старовер, не курит, ест из своей посуды и строго соблюдает закон. Лет пятнадцать назад он из ревности убил брата. Но это – «бабье дело», а в бабьем деле закона нет. Когда он поступил добровольцем, я спросил у него:

– За что ты их ненавидишь?

– Кого?

– Коммунистов.

– Бесов-то? А за что их любить? Дом сожгли и сына убили... Даже пес жалеет своих щенят... На кострах жарить их надо.

– Да ведь белые за помещиков.

– Так чего? Мы помещикам головы-то открутим.

– Когда?

– А вот время придет.

Он дослужился до вахмистра и очень горд своим званием. И когда Федя, смеясь, говорит, что он в прихвостнях у дворян, он сердито трясет седой бородою:

– Язва. Отстань. Я не за бар, – за Рассею.

За Россию... До войны он, наверное, говорил: «мы – скобари», и знать не хотел «калуцких». А теперь на коне и с винтовкой изгоняет из России «бесов».

### 3 ноября.

Городишко, где мы стоим, убог и неряшлив. Он утонул в сыпучем песке. Песок в лесу, песок на дороге, песок на улицах, песок на подушке. Точно мы в Аравийской пустыне. Но в пустыне горячее солнце, а здесь меркнет свинцовый день, вьется липкий осенний снег, и по утрам мороз щиплет пальцы. Мы в летних шинелях. У нас нет валенок. Нет рукавиц. Кто-то, мудрый, ворует в тылу.

На городской площади изгнившие тротуары, конский навоз и пыль. Бабы в белых платках, крестьяне в белых тулупах. Евреев почти не видно. Евреи ушли в леса, со стариками, женами и детьми, с коровами и домашним скарбом. Мы не освободители в их глазах, а погромщики и убийцы. На их месте я бы тоже ушел.

Погромы, грабежи и насилия запрещены строжайшим приказом. За нарушение – смертная казнь. Но я знаю, что вчера во втором эскадроне играли в карты на часы и на кольца; что ротмистр Жгун разгромил еврейскую лавку; что у улан завелась валюта – американские доллары; что в лесу нашли истерзанный женский труп. Расстреливать? Двоих я уже расстрелял. Но ведь нельзя расстрелять половину полка.

Я пишу, а в столовой хрипит граммофон. Он хрипит, захлебывается и снова хрипит, точно жалуется на свою машинную немощь. Я слышу, как Федя долго возится, починяя его, и, наконец, с ожесточением плюет. Потом начинает негромко:

Полюбили сгоряча  
Русские рабочие  
Троцкого и Ильича,  
И все такое прочее...

## 4 ноября.

Федя – художник. В свободное от «занятий» время он рисует «картинки». Одну из таких «картинок» он принес мне сегодня. Он написал свой портрет. Те же волосы огненно-рыжего цвета, тот же сплюснутый нос, те же смущающие глаза: один мертвый, выбитый пулей, другой прищуренный, веселый и быстрый. Он не в нашей, а в английской шинели, но с кубиками и пятиконечной звездой. Подписано: «Комиссар Федор Федоров, товарищ Мошенкин».

Он залюбовался своим искусством. Он не в силах оторвать восхищенного взгляда. Если бы он знал историю, он бы вообразил себя Неем или Даву (маршалы Наполеона – Ред.) На самом деле, он бывший бакалейный торговец, владимирский мещанин. Налюбовавшись, он говорит:

– Граммо-граммо-граммофон... Пате-пате-патефон... А нельзя ли на выставку, господин полковник, послать?

## 5 ноября.

Я приказал оседлать Голубку и выехал в поле. Застоявшаяся кобыла весело бежала размашистой рысью, звонко цокая по дождевым лужам. День был ненастный и теплый. Со свистом носился ветер. Разорванные, черно-лиловые облака низко опускались на землю.

Я люблю простор широких полей. Я люблю синеву далекого леса, оттепель и болотный туман. Здесь, в полях, я знаю, знаю всем сердцем, что я русский, потомок пахарей и бродяг, сын черноземной, напоенной потом, земли. Здесь нет и не нужно Европы – скупого разума, скудной крови и измеренных, исхоженных до конца дорог. Здесь – «не белы снега», безрассудство, буйство и бунт.

Я остановился на берегу Березины и пешком пошел вдоль реки. Она струилась спокойная и глубокая. Ее пустынные воды сверкали Инеем ломкого льда. Слезился ржавый кустарник, нога скользила в мокрой траве, и Голубка, мягко ступая, тыкалась мне мордой в плечо. Я слышал ее дыхание, и мне казалось, что и она, и нависшее небо, и Березина, и шуршащий тростник, и я – одно неразделимое целое, единый, замкнутый и непознаваемый мир... И мне вспомнилась Ольга. Она вспомнилась мне такой, какую я видел ее когда-то, в Москве, – в белом платье и соломенной шляпе. Где Ольга? Что с нею?

## **6 ноября.**

Россия – Ольга, Ольга – Россия. Если не будет Ольги, моя влюбленность в Россию потеряет свою глубину. Если не будет России, моя любовь к Ольге утратит всеобъемлющий смысл. Жить в России без Ольги все равно, что влачиться с Ольгой в изгнании, – влачиться на «поломанных крыльях», дрожа и «прижавшись к праху».

## 7 ноября.

Вчера у меня в саду повесили Назаренку. Он не сознался. Он, как зверь, отлеживался на кухне. Верил ли он, что умрет?

Был восьмой час утра. Выходило холодное солнце. За ночь выпал пушистый снег и замел песок на дорожках. Назаренко вышел с Егоровым на крыльцо. Потом, поеживаясь и жмурясь, стал под березу. На березе, на догола обнаженном суку, верхом сидел Федя. На улице молча толпились уланы.

– Начинай.

Назаренко глубоко вздохнул. Он был без шапки, в короткой, белой, расстегнутой на шее, рубахе. Егоров толкнул его в бок.

– Лоб-то... Лоб-то перекрести, сукин сын.

Я видел, как быстро-быстро задвигались пальцы и зашевелились синие губы. И я скорее почувствовал, чем услышал:

– Господин... Господин полковник!..

Но Егоров угрюмо сказал:

– Даже помереть не умеешь. На что крестишься?.. Крестись на восход.

Федя накиннул веревку. Подогнулись худые колени, и голова опустилась вниз. Повисло длинное, бессильное тело. Федя спрыгнул, дернул за ноги и закричал на уланы:

– Чего не видели? Расходись!..

## 8 ноября.

Поручик Вреде, гусар, провел всю войну на фронте, ходил на проволоку в конном строю, был ранен и заслужил Георгиевский крест. Коммунисты посадили его в тюрьму. Из тюрьмы он бежал. Он командует вторым эскадроном.

Каждый вечер он приходит ко мне, садится на турецкий диван и курит. Он совсем еще мальчик, белокурый, с розовыми щеками и детским пухом вместо усов.

– Юрий Николаевич, почему мы стоим в этой дыре?

– Приказано.

– А скоро пойдем вперед?

– Когда прикажут.

Он хмурит тонкие брови.

– Надоело.

– Идите один.

– Вы всегда надо мной смеетесь.

– Смеюсь? Бог с вами, Вреде... Если бы мне надоело, я бы ушел.

– Куда?

– В лес.

Скудеет день, загорелись первые звезды. За окном морозная ночь. Вреде ходит из угла в угол.

– Нас было три сестры и два брата, и отец, генерал. Мать скончалась давно. Было у нас имение, усадьба под Ригой. Отца расстреляли, старший брат убит на Кавказе, а о сестрах я ничего не знаю. Имение разгромили, конечно... Ну, вот... Отца и брата я им простить не могу...

– У Назаренки тоже, наверное, есть брат.

– У Назаренки?... Так ведь он коммунист.

– А вы белый?

– Да, белый. Я за Россию.

Я улыбаюсь:

– И за усадьбу?

– За усадьбу? Нет... Чорт с нею, с усадьбой. Я не горюю: пусть разживаются мужики.

Федя вносит зажженную лампу. Погасли звезды в окне, запахло махоркой и керосином. Федя прикручивает фитиль и говорит, вытирая жирные пальцы о скатерть:

– И разживутся, и попользуются, господин поручик... Уж такой, стало быть, вороватый народ...

## 9 ноября.

У Егорова сожгли дом и убили сына. У Вреде убили отца. У Феди убили мать. Я понимаю, за что они ненавидят. Но за что ненавижу я?

У меня нет дома и нет семьи. У меня нет утрат, потому что нет достояния. И я ко многому равнодушен. Мне все равно, кто именно ездит к Яру, – пьяный великий князь или пьяный матрос с серьгой: ведь дело не в Яре. Мне все равно, кто именно «обогащается», то есть ворует, – царский чиновник или «сознательный коммунист»: ведь не единым хлебом жив человек. Мне все равно, чья именно власть владеет страной, – Лубянки или Охранного Отделения: ведь кто сеет плохо, плохо и жнет... Что изменилось? Изменились только слова. Разве для суеты поднимают меч?

Но я ненавижу их. В распояску, с папиросой в зубах, предали они Россию на фронте. В распояску, с папиросой в зубах, они оскверняют ее теперь. Оскверняют быт. Оскверняют язык.

Оскверняют самое имя: русский. Они кичатся тем, что не помнят родства. Для них родина – предрассудок. Во имя своего копеечного благополучия они торгуют чужим наследием, – не их, а наших отцов. И эти твари хозяйничают в Москве...

Если вошь в твоей рубашке  
Крикнет тебе, что ты блоха,  
Выйди на улицу —  
И убей!

## 10 ноября.

Москва... Москва – начало и конец моей жизни. Без Москвы, без ее кривых переулков, Христа Спасителя, Арбата и Кремлевских ворот, без ее богатства, славы, унижения и нищеты, нет Родины, а значит нет и меня. «Горят кресты на церквах, скрипят по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, и у Страстного монастыря звонят к обедне. Я люблю Москву. Она мне родная».

Верю ли я в победу? В тылу тупоумие, взятки и воровство, – слепорожденные мыши. На фронте тупоумие, доблесть, разбой, – не воины в белых одеждах, а двойники своих же врагов. Я боюсь, что настанет день, и мы, как стадо овец, метнемся обратно. Метнемся, потому что корыстно любим Москву.

## 11 ноября.

Слава богу, мы выступаем. Из штаба армии получено приказание идти на Грабово и Бобруйск. Я велел отслужить молебен. Гололедица. Сеет дождь. Снег растаял на мостовой и смешался с желтым песком. Бурая грязь налипает на сапоги, липнет в руках кубанка. Священник вяло бормочет: «О мире всего мира и о спасении душ наших господу помолимся...», и Федя в мокрой шинели тянет вместо дьячка: «господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй...» Уланы крестятся. Многие стоят на коленях. Один Егоров остался дома. Он согрешит, если будет молиться с нами: мы «нехристи» и «еретики».

## 12 ноября.

Входит Вреде. Он взволнован. Голос его дрожит:

– Юрий Николаевич, что же это такое? Я больше так не могу. Что мы, погромщики, в самом деле?.. Вы знаете, что случилось?

– Что?

– Жгун застрелил еврея.

– Из-за чего?

– Из-за денег.

Ротмистр Жгун храбрый и исполнительный офицер. Но он грабитель. Он не говорит «ограбил» или «украл», а говорит «покупил» шубу, «покупил» кольцо, «покупил» сапоги. Это же слово повторяют за ним и уланы. Пока не было крови, я закрывал поневоле глаза. Но сегодня дело другое. Я выхожу на крыльцо.

– По коням!

Федя подает мне Голубку. Я трогаю ее шагом к первому эскадрону. Впереди, на высоком, сером в яблоках, жеребца ротмистр Жгун. Я узнаю высокого жеребца: он взят в бою у красного офицера.

– Ротмистр Жгун!

– Я.

У него добродушное, красное, с рыжими усами лицо. Ему лет 40. Он из вахмистров царской службы.

– Вы убили еврея?

– Так точно.

– За что?

– Да ведь жид, господин полковник...

– Я спрашиваю: за что?

Он побагровел, но не произносит ни слова. Я говорю трубачу:

– Трубач, за что ротмистр Жгун застрелил еврея?

Трубач потупился: боится начальства. Но я настаиваю:

– Я приказываю тебе. Отвечай.

– За часы, господин полковник.

– Вы слышали, ротмистр Жгун?

Он молчит. Он «ест» меня по-солдатски глазами... Тогда я говорю:

– Расстрелять.

Я поворачиваю Голубку. И я не вижу, но знаю, что Егоров и Федя уже стаскивают его с седла и ставят тут же, у поповского дома, к стене. Я жду. Я жду недолго. Трещат два выстрела. Я командую:

– Справа по три. За мной! Шагом... ма-арш!

## **13 ноября.**

Я помню: я познакомился с Ольгой случайно. Я шел по Петровскому парку. Был один из тех хромоногих дней, когда тревожит ненужная память и не смываются «печальные строки». Я встретил девушку. Она спросила дорогу. Мы долго шли рядом. Я молчал. Я молчал потому, что мне было жутко, – жутко моей сердечной тоски. А потом... Потом я наклонился к ней и взял ее руку. Но она посмотрела мне прямо в глаза так доверчиво и так ясно, что я смутился. И в смущении зародилась любовь.

## 14 ноября.

Пресека. Лесная дорога. Кругом густой и частый, дремучий бор. Не скрипнет ель, не дрогнет подгнивший сучок, не хрустнет, падая, ветка. Пофыркивают негромко кони, и гулко и ровно постукивают сотни копыт. Изредка Федя, закуривая, чиркает спичкой. Изредка я вполголоса говорю: «Под ноги налево... Под ноги направо...», и взводные повторяют мою команду. Так мы идем с утра, 1-ый Уланский полк. Идем к Березине.

Расступились темно-зеленые ели, и потянулось проржавленное болото. Кое-где, среди колючей травы, еще алеет брусника. На болоте пасется стадо. Мычат коровы. Пастух в дырявом тулупе тупо нам вслед.

– Откуда?

– Из Бухчи.

– Есть в Бухче красные?

– А может и есть...

– Много?

– А может и много...

Он снял картуз и лениво скребет в затылке. Ему все равно – белые или красные, царь, или мы, или коммунисты. Для него все чужие, все незваные гости. Он родился в лесу, в лесу и умрет. Федя, шутя, замахивается нагайкой:

– Пошел вон, лесовик!..

## 15 ноября.

В Бухче не было красных. Я приказал созвать сход. У церкви собралось человек пятьдесят мужиков, много баб и еще больше мальчишек. Я старался им объяснить, кто мы и во имя чего воюем. Они слушали внимательно, но угрюмо. Я чувствовал, что они мне не верят: в их глазах я был барин. И когда я заговорил о земле, меня сразу прервало несколько голосов:

- А почему у вас генералы?
- А почему с вами паны?
- А почему не платите за подводы?

Что мог я ответить? Да, в тылу у нас царские генералы. Да, помещики тянутся, как пиявки, за нами. Да, в армии идет воровство... Меня выручил из беды Егоров. Он протискался сквозь толпу огромный, седобородый, похожий на раскольничьего попа, загремел, показывая корявый палец:

– Это что, огурец или палец? Палец... А я кто? Барин или мужик? Мужик... Так чего зубы-то заговаривать? Бери, ребята, винтовки! Бей их! бесов! Бей бесов окаянных, комиссаров и бар!.. Довольно поцарствовали над нами!.. Правильно ли я говорю?..

– Перекрестись, что против панов.

Егоров снял кубанку и перекрестился на церковь.

– Бумагу написать можешь?

– Могу.

– А печатку приложить можешь?

– Могу.

Толпа зашумела. Особенно горячились бабы. Я не дождался конца и вернулся в халупу. А вечером Федя мне доложил, что деревня дает семь человек добровольцев. Доложив, он остановился в дверях.

– Нестоящее это дело, господин полковник.

– Почему?

– Да убегут мужичонки эти. Разве им возможно не убежать? Ведь Егоров наврал: неизвестно за что воюем.

## **17 ноября.**

В лесу и в поле, вечером, ночью и днем, меня не покидает острая мысль, – мысль об Ольге. Позвякивает стремя о стремя. Голубка просит поводьев, оступается и снова мягко шагает, а передо мной встает Ольга. Блестят голубые глаза, рассыпались русые косы. Она, смеясь, играет в горелки. Горелки... Какое наивное, навеки забытое слово... Где Ольга? В тюрьме? В подвалах Лубянки? В руках у пьяного комиссара?.. Я не могу, я не смею думать. Огонь обжигает лицо и мутится буйно в глазах.

## 18 ноября.

Березина оледенела. Сверкает звонкий, голубоватый лед. Выше, вверх по течению, широкая полынья, – говорливые и резвые струи. Садясь на задние ноги, ощупью спускается с крутизны Голубка. У реки она нюхает воздух и пятится в испуге назад. Но я поднимаю хлыст. Она храпит и делает быстрый скачок.

Выехав на луговой берег, я обернулся. Веселую вереницей переправляется полк. Уланы в желтых кубанках, в серых шинелях до шпор и с винтовками за плечами, осторожно ведут некованных лошадей. Впереди трубач Барабошка, тот самый, которого я спросил о Жгуне. Его лошадь скользит и падает на колени. Она беспомощно бьется на льду, а Барабошка хохочет, как сумасшедший. Смеюсь и я. Я не знаю, чему я смеюсь. Но так беспорочно раннее утро, так прозрачен морозный воздух, так разноголоса пробудившаяся река, так бодры кони и так приветливы люди, что я, как мальчик, радуюсь жизни. Жить – не думать, не знать, не помнить...

Полк собирается на лугу. Я выстраиваю его походной колонной. Раздается беззаботная песня. Уланы поют «Олега».

## 19 ноября.

Федя подает мне бинокль.

– Вот они, господин полковник.

Я вижу: в сизой мгле колышутся тени. Их много. Они двигаются по Бобруйскому тракту. Это красные. Неужели они принимают нас за своих?

– В атаку! В карьер!

Засвистел и резнул лицо воздух, напряглась и выбросилась вперед Голубка. Низко наклонясь к луке, я обнажил саблю. Справа и слева быстрый топот копыт, короткие вскрики и выстрелы, – не щелканье ли бичей? Как во сне промелькнул Егоров. Взвизгнуло острое лезвие, что-то охнуло и что-то упало... Я пришел в себя, когда окончился бой. И когда я пришел в себя, я заметил, что к далекому лесу, по вспаханной и мерзлой земле, спотыкаясь, бежит человек. Он бежал без винтовки, закрывая руками затылок. За ним тяжелым галопом скакал один из наших улан. Я узнал взводного Жеребцова. Я опять пустил Голубку в карьер.

Я догнал их уже на опушке. Блеснула сабля, очертила звенящий круг. Красноармеец, пригнувшись, бросился в ельник. Я взглянул на него, на этого русского, в шлеме с красной звездой, мужика, и мною овладело незнакомое чувство. Я крикнул:

– Опустит руку!

Жеребцов злобно, всем телом, повернулся ко мне.

– Опустит! А ты... А ты, еловая голова, иди за мною...

Красноармеец сперва не понял. Потом поднял испуганные глаза. Потом, крестясь и путаясь, и снова крестясь, забормотал невнятной скороговоркой:

– Вот спасибо... Вот так спасибо... Вот так уж на самом деле спасибо...

## 20 ноября.

«Не убий!»... Когда-то эти слова, пронзили меня копьём. Теперь... Теперь они мне кажутся ложью. «Не убий», но все убивают вокруг. Льётся «клюквенный сок», затопляет даже до узд конских. Человек живет и дышит убийством, бродит в кровавой тьме и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьёт, когда голод измучит его, человек – от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь. Таково первозданное, не нами созданное, не нашей волей уничтожаемое. К чему же тогда покаяние? Для того, чтобы люди, которые никогда не посмеют убить и трепещут перед собственной смертью, празднословили о заповедях завета?.. Какой кошунственный балаган! 21 ноября.

## 21 ноября.

Мы с боями идем вперед. Вчера мы два раза ходили в атаку. Ранен командир первого эскадрона, ранено человек десять улан, и убит трубач Барабошка. Он был тоже «скобарь», земляк Егорова, заклятый враг коммунистов. Он всегда был доволен, даже когда нечего было есть, даже когда люди от усталости засыпали на седлах. – «Тяжело, Барабошка?» – «Никак нет, нам скопским кап што»... В деревне у него остался отец, суровый и благочестивый крестьянин. Отец и приказал ему идти в добровольцы.

Мы похоронили Барабошку в лесу. Уланы наскоро пропели «вечную память» и поставили березовый крест. Когда стукнул последний ком глины, Федя, нахмуясь, сказал:

- Жил грешно и умер смешно.
- Почему смешно, Федя?
- Да ведь не от чужой, а от русской пули.

## 22 ноября.

Ночью меня разбудил Федя.

– Вставайте, господин полковник, вставайте!

– В чем дело?

– Уже ура кричат, господин полковник...

Я мало верю в ночные атаки. Но делать нечего: я нехотя одеваюсь. На улице тьма. Ни зги. Настойчиво стучат у околицы пулеметы. Больше ни звука. Я спрашиваю:

– Кто же кричит ура?

– Виноват, господин полковник.

Федя не трус, но не лучше труса. У него испорченное воображение. Ему мерещится то, чего нет. Замечает ли он то, что есть?.. Ему стыдно. Он говорит:

– Да ведь так и лезут с одиннадцати часов...

Пусть «лезут»... Я захожу посмотреть Голубку. Она почувствовала меня и обернулась в темном сарае, – сверкнула скошенным глазом. Я ласкаю ее упругую грудь, ее гибкую шею. Она просит сахара – ищет горячими губами ладонь. Но сахара нет. Все еще стучат пулеметы. За моей спиной покорно вздыхает Федя.

## 24 ноября.

Разве это война? Красные сдаются почти без боя. Вчера мы взяли батарею – четыре орудия, сегодня два пехотных полка. Федя хвалится: «Так и ставку ихнюю голыми руками возьмем». Егоров останавливает его: «Не мели. Воля божья... О себе пекись. Как бы не забрали тебя...» Но я спокоен: Федю не заберут.

Холодно. Свищет ветер. Воеет и разыгрывается метель. Вреде выстроил пленных в поле. Он командует:

– Смирно!

Восемьсот, одетых в военную форму, крестьян впивается мне в лицо. У всех один и тот же, напряженный и недоверчивый взгляд. Они озябли, держат руки по швам и готовятся к смерти. Федя спрашивает:

– Прикажете тачанки подать?..

Тачанки... Нет, я не расстрелял никого. Я предложил желающим вернуться в Бобруйск, желающим записаться к нам. И я сказал, что каждый волен идти домой.

Они не поняли. Кружилась снежная пыль, таяла и забивалась за воротник. Я ушел. Они все еще ждали. Ждали чего? Тачанок?..

## **25 ноября.**

К пленным я послал Егорова и «мужичонков» из Бухчи. Я не знаю, о чем они говорили. Вероятно, опять о панах, о земле, о подводах, о генералах. Но к вечеру у нас составилась новый добровольческий полк – 1-й Партизанский, пехотный. И теперь во мне живет звериное чувство: я хочу драться. Драться, даже если нельзя победить.

## **26 ноября.**

Я люблю Ольгу. Любит ли Ольга меня? Я впервые задаю себе вопрос. Там, в Москве, я знал, что она не может меня не любить. Какая женщина устоит против любви? Какая женщина не истомится и не взволнуется страстью? Чье сердце выдержит самоубийственный поединок?.. Но ведь теперь между нами даже не бездна, а колодец ее. Колодец бедствий, тревог, несчастий и поражений. Не тюрьма и не Лубянка страшны. Я сожгу тюрьму и взорву Лубянку... Страшна неразделенная жизнь.

## **27 ноября.**

Я написал на клочке бумаги: «Начальнику Бобруйского гарнизона. Приказываю вам сдать немедленно город. В случае неисполнения сего приказания, я вас повешу. Деревня Микашевичи. Подпись». Эту записку я передаю перебежчику. Молодой солдат в шлеме улыбается и прячет ее за рукав.

- Ничего больше, товарищ?
- Ничего.
- Счастливо оставаться, товарищ.

## 28 ноября.

Для него я «товарищ», а не «господин полковник» и уж, конечно, не «его благородие». Вреде не признает этих «коммунистических новшеств». Он не может понять, что он давно не его величества лейб-гусар, а такой же доброволец, как Федя. «Товарищ» звучит для него оскорблением. Мне все равно: лишь бы сдался Бобруйск, лишь бы сделать еще один, пусть обманчивый, шаг к Москве... Мне приказано ждать. Тем хуже. Завтра я наступаю.

Целый день длился бой. Грохотали орудия, разрывались, взметая землю, гранаты, звенела и таяла в голубых небесах шрапнель. Я смотрел в бинокль, как на окрестных холмах перебежали за березами люди и падали под нашим огнем. Не люди, а игрушечные солдаты. Игрушечная пашка, как спичка; игрушечная винтовка, как карандаш; игрушечный разрыв, как дым папиросы. А когда мы взяли холмы, на истоптанной прошлогодней траве валялись шапки, сумки, шинели. Федя поднял одну, офицерскую, подбитую мехом. Она была испачкана кровью. Он счистил ножиком кровь и надел шинель в рукава. Уланы мерзнут и завидуют Феде: «ординарцам всегда везет». Но сегодня везет и им: люди сыты, и у лошадей есть овес.

## **29 ноября.**

Мы вошли в Бобруйск на вечерней заре. Садится круглое, багровое солнце. На гулких улицах ни души. Чернеют заколоченные дома, и четко, иглами, торчат фабричные трубы. На главной площади, на канате, два источенных дождями портрета: Ленин и Троцкий. Егоров саблей разрубает канат.

Мы победили. Но во мне нет радости, знакомого опьянения: русские победили русских. На стене белеется прокламация. Я срываю ее. В ней говорится о нас – «разбойниках» и «бандитах». И я спрашиваю себя: брат на брата или клоп на клопа?

## 30 ноября.

Взводный Жеребцов делает мне доклад:

– Так что взяли нас, господин полковник, под Микашевичами, в разъезде, – Кучеряева, Карягина и меня. Привезли в Бобруйск потащили в Че-ку. В Че-ке не комиссар, а толстая баба, содком. Во френче и в галифах. В руке у нее наган. Взглянула на Кучеряева, говорит: «Ползи на коленях». Кучеряев пополз. Она трах из нагана.

Потом Карягину: «А теперь ползи ты». Карягин туда-сюда, а в дверях чекисты стоят, смеются. Нечего делать. Пополз. Она снова трах. Уволокли чекисты обоих, а она ко мне повернулась и ласково так говорит: «Как тебя звать, товарищ?» – «Василий». – «Ну что-ж, покури, товарищ Василий»... и папиросу дает. Взял я папиросу, курю. А она меня подозвала к себе и руки на плечи положила: «Ты ведь все мне расскажешь, товарищ Василий?.. Сколько у вас коней, орудий, винтовок»... Я ей было пушку залить хотел, а она как закричит на меня: «Врешь! Правду говори, сукин сын!»... – «Не могу знать», – говорю. – «А, так ты так?.. Всыпать ему пятьдесят!..» Всыпали. – «Ну?..» Я молчу. Она встала со стула и раз меня хлыстом по щеке. Искровенила все лицо. «Увести его. Всыпать еще полсотни, а потом на сосиски...» Увели меня в паку, есть и пить не дают, измываются только: «Ты, – говорят, – Иуда, проданся господам»... А тут вы подошли и, слава богу, освободили... Она, с комиссаром, сказывают, до сих пор укрывается здесь. Тетерины их фамилия.

## **1 декабря.**

Егоров отыскал комиссара, но жены его не нашел. Тетерин прятался в еврейской семье, под периной. В наказание Егоров выпустил из перины пух, разбил окна и изломал грошовую мебель – «побаловался немного». Тетерина повесили утром. Вешал, конечно, Федя. Он нарочно долго возился с петлей, мылил веревку, уходил и не торопился возвращаться обратно. Теперь Федя выпил водки и пообедал. Он в сенях бренчит на гитаре:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.